



С. Т. ГЕРЦО-ВИНОГРАДСКИЙ

Взгляд на деятельность г. Щедрина

Недавно вышел «Концентрический учебник французского языка» (Игнатовича), в котором автор посвятил несколько уроков особенностям французской синтетической конструкции, состоящим в многообразных отступлениях от обыденного порядка речи. Благодаря этому учебнику, устраняется множество затруднений, встречаемых учениками при переводе французских текстов. Когда я перелистывал этот учебник, мне пришла следующая мысль: вот, думал я, было бы недурно, если бы кто-нибудь составил для русской публики учебник, с помощью которого устранялись бы затруднения, встречаемые этой публикой в многообразных отступлениях того или другого писателя от обыденных интеллектуальных порядков. Как ни ограничен у нас круг (два-три и обчелся) писателей, представляющих собою «отступления от обыденного порядка», тем не менее, — дело не в количестве, а в качестве этих писателей, — такой учебник весьма желателен. Раз имелся бы этот учебник, мы не присутствовали бы при таком комическом недоразумении, какое, например, случилось в нашем обществе по поводу «Благонамеренных речей» г. Щедрина. А г. Щедрин представляет собою одно из видных «отступлений» в нашей литературе. Отсутствие желанного мною «учебника» сделало из г. Щедрина, в глазах общественного мнения, какого-то литературного *enfant prodigue*¹, не поддающегося никаким прокрустовым ложам. Может быть, читатель помнит, что эта за штука такая — прокрустово ложе? Ложе это получило свое название по имени своего основателя Прокруста, который укладывал встречного и поперечного на это ложе, и ежели встречный оказывался длиннее ложа, то Прокруст отрубивал такому встречному ноги; ежели же жертва оказывалась короче ложа, то Прокруст ее вытягивал. Такую же операцию делают с г. Щедриным наши литературные Прокрусты, вытягивают и урезают его, но *enfant prodigue*,

несмотря на вытягивания и урезывания, остается при своем оригинальном росте, приводя Прокрустов в неописанное смущение. Почти всех наших писателей литературные Прокрусты разместили по этим ложам. И хотя некоторые из размещенных энергически протестуют против этого насилия, но протест их не достигает цели. Так, помнится мне, г. Тургенев категорически протестовал несколько лет назад против Прокрустов, укладывавших его на ложе, но гласу протестующей жертвы Прокрусты не вняли. Не то мы видим с г. Щедриным. Его в одно время и вытягивают и урезывают и, наконец, приходят к заключению, что он представляет собою такое «отступление», с которым ничего не поделаешь. Бросив этот *сoup d'oeil*² на мартовскую книжку «Отечественных записок», я спешу перейти к г. Щедрину, которому я уже давно хотел посвятить один из своих журнальных очерков. И хотя, строго говоря, у меня для этого не имеется никакого *a priori*, так как картинка провинциальных нравов: «Он!!»³, помещенная в № 3 «Отечественных записок», слишком слабое основание для этого посвящения сатирику целого фельетона, но говорить о г. Щедрине значит быть *toujours le bienvenu*⁴. «Он!!» представляет собой новые вариации на старую *помпадурскую* тему. Вот почему я сегодня должен в третий раз употребить выражение «*est modus in rebus*»⁵, упущенное из виду и нашим сатириком. В новом его произведении рассыпаны блестящие остроумия, но *помпадурская тема*, так же как и известная шкурка, не стоящая выделки, не стоит этих блесков. Проводы упраздненного помпадура, плохенького, но смирененького и дешевенького (не лыком шит, говорили про него обыватели, но зачем нам помпадуры щегольской работы!), описаны автором с неподражаемым юмором. Затем мы распрощаемся с мартовской книжкой и обратимся вообще к литературной деятельности г. Щедрина. Деятельность эта ведет свое начало с 1848 года, когда г. Щедрин выступил на литературное поприще с повестью «Запутанное дело», которая принесла автору большие неприятности, хотя, предварительно своего появления в свет, она прошла цензурную инстанцию. Автор *volens-nolens*⁶ поселился в провинции, где и почерпнул массу материалов для своих знаменитых «Губернских очерков», появившихся в 1856 году в журнале «Русский вестник». «Губернские очерки» сразу доставили громкую известность своему автору, раскрывавшему, очерк за очерком, наши, как тогда любили выражаться, «общественные раны». «И публика смеялась много, смотря на эту ерунду»⁷, так сформулировал свое мнение об «Очерках» один из тогдашних критиков. Пусть этот отзыв ляжет пятном если не на совесть, то, по крайней мере, на мыслительную способность критика. Что же касается того, что «публика смеялась много», то автор

«Очерков» мог сказать этой публике словами Гоголя: «Чему смеетесь? над собой смеетесь». Но публика, в ответ на авторский реприманд, могла отвечать словами того же Гоголя: «Да, над собой смеемся, смеемся потому, что слышим приказание высшее быть лучшими». «Губ. очерки», представляя собой ряд блестящих статей, беспощадно карающих темные проделки мелких подъячих, в то же время представляют собой и ряд не менее блестящих статей, направленных не менее беспощадно и против тех натур, которые в то время отделялись от подъячей толпы в лучшем смысле. Он не щадил никого и ничего, у него как не было прежде, так нет и теперь никаких *cordes sensibles*⁸. Под общим названием *талантливых натур* сатирик выводит в своих «Очерках» три натуры: 1) мефистофелевскую, 2) спившуюся с круга и 3) опустившуюся в мошенничество. Воскрешать перед читателем эти три типа, нарисованные меткой кистью, я не стану по той простой причине, что это лишнее для читателя, знакомого с Лузгиным, Горехвостовым и Корепановым, восстанавливать же эти типы для читателя, не знакомого с ними, значит дать ему, вместо типов, скелеты, так как для пластического восстановления их потребовалось бы не мало места... Я приведу только общий очерк, предпосылаемый автором изображению этих типов.

«Одни из них занимаются тем, что ходят в халате по комнате и от нечего делать насвистывают; другие проникаются желчью и делаются губернскими Мефистофелями; третьи выпивают огромное количество водки; четвертые переваривают на досуге свое прошедшее и с горя протестуют против настоящего... К сожалению, я должен сказать, что и первые, и вторые, и третьи водятся, исключительно, между молодыми людьми. Старый заиндеветший чиновник или помещик не может сделаться Печориным; он смотрит на жизнь с практической стороны, а на тернии и неудобства — как на неизбежные и неисправимые: это блохи и клопы, которые до того часто и много его кусали, что сделались не врагами, а скорее добрыми знакомыми его. Он не вникает в причины вещей, а принимает их так, как они есть, не задаваясь мыслью о том, какими бы они могли быть, если бы... и т. д. Молодой человек, напротив, начинает уже смутно понимать, что вокруг него есть что-то неладное, разрозненное, неклеящееся; он видит себя в странном противоречии со всем окружающим, он хочет протестовать против этого, но, не обладая никакими живыми началами, необходимыми для примирения, остается при одном зубоскальстве или псевдотрагическом негодовании».

Сатирик стоит в отрицательном отношении к современным ему талантливым натурам, не лишенным внутренней силы, ума и благо-

родства, но карает их за апатию, фразерство и... мошенничество. И все эти замашки, по словам г. Щедрина, являются в молодом поколении, располагающем и свежестью сил, и восприимчивостью чувств. Но неужели у нас нет, или, если есть, то самая ничтожная малость людей, соединяющих с возвышенностью стремлений честную и неутомимую деятельность, несмотря на давление неблагоприятных разных разностей? Неужели безусловное отрицание сатирика имеет за собой горькую правду? Неужели, неужели? слышались голоса как тогда, так и теперь. Да дело не в том: ужели или неужели? — а в том, что щедринская «талантливая натура» была им не выдуманна, а живьем взята из действительности. Тем не менее, на сатирика посыпались упреки в том, что у него нет ничего святого, что он осмеивает все и вся, к чему только ни прикоснется. Эти упреки, раздававшиеся сначала слабо, чем дальше, становились громче и категоричнее, а Щедрин продолжал осмеивать все, что он находил смешным, карикатурным или нелепым в нашем обществе, не щадя ни «ваших» ни «наших», не укладываясь ни в какую мерку — ни либеральную, ни консервативную, не поддаваясь никаким Прокрустам... Сатирик-публицист образовал, таким образом, для себя самую оригинальную ситуацию. Кто из читателей не помнит тех юношески-наивных восторгов, которыми захлебывалась русская публика, когда послышался в наших *parages le doux ramage*⁹ новорожденной гласности, когда на просьбу: «Папаса, хоцу гавалить!» — нам отвечали: «Говори, друг мой!» Кто не помнит, спрашиваю я, этого недавнего прошедшего. «Гласность, гласность! Ах, гласность! О, гласность!» — восклицали мы, уподобляясь соловью, заслушивающемуся собственных песен. И вдруг, среди этого всеобщего галденья, обуявшего и юных старцев, и старых юношей, являются *Литераторы-обыватели*¹⁰, обнажающие всю ходульность и миражность этой «новой эры» в русской литературе. И в самом деле, разве не заслуживала злого осмеяния эта «новая эра», вся новизна которой исчерпывалась «обличительными» корреспонденциями против заседателя, ковыряющего в носу, или градоначальника, опоздавшего на пожар. А между тем кто откажет этим литераторам-обывателям в их искреннем патриотизме и гражданском самозабвении, с которым они преследовали «зло»? Они самоотверженно несли свою доблестную лепту в сокровищницу «преуспевании на пути прогресса» и терпели даже гонения: беспокойного обывателя-корреспондента выселяли из города Глупова и переводили в Дурацкое-Городище, но и в Дурацком-Городище он не унимался. Но повторяю я: литератор-обыватель! ты не знаешь, что иные люди, иные вещи, целый новый мир народился кругом

тебя и что старым, насквозь проржавленным мехам не под силу новое молодое вино. Ты забываешь, что вечные интересы человечества призывают к иной, более действительной деятельности. Но странная и неудержимая сила обстоятельств! В то время, когда ты мучишься в потугах рождения, чтобы бросить миру какую-нибудь высокопарную мысль о человечестве и постепенном поступании его на пути совершенствования, ты приковыливаешься к тесной твоей раковине, к родному твоему Глупову? И выходит тут нечто нелепое: и Глупов, и человечество, и ковыряющий в носу судья, и вечные законы... *Sapienti sat*¹¹, кто не помнит тех юношески-наивных восторгов, которыми захлебывалась русская публика, когда послышался в наших *parages le doux ramage* новорожденного земства, когда нельзя было съестъ куска, чтобы кусок этот не был отравлен, или «рутинными путями, проложенными бюрократией», или «великим будущим, которое готовят России новые учреждения», когда у всех глаза горели диким огнем и все болтали или «о полах», или «о мостах», или «о всеобщем и неслыханном распространении пьянства», или «о наидешевейшем способе изготовления нижнего белья для лиц гражданского ведомства, пользующихся в местной больнице», когда даже в литературе появились передовые статьи, в которых выражалась «твердая уверенность, что вопрос о снабжении больниц хорошо вылуженными медными рукомошниками получит, наконец, надлежащее разрешение». «Земство, земство! Ах, земство! О, земство!» — восклицали мы, уподобляясь опять соловью, заслушивающемуся собственных песен, и вдруг, среди этого всеобщего галдения, обуявшего и юных старцев, и старых юношей, является «Новый Нарцисс»¹², обнаживший всю ходульность и миражность этой «новой эры» в русской жизни, вся новизна которой исчерпывалась «хорошо вылуженными медными рукомошниками». Но этого мало: «Я смотрю вглубь, и что ж я вижу? Какой вопрос прежде всего занял умы сеятелей? Вопрос о снабжении друг друга фондами. Мне тысячу, тебе тысячу — вот первый вопль, первое движение. Вновь смотрю я вглубь, и что же я вижу? Чем они заявляют миру о своем существовании? Чем ознаменовывают свой въезд в дебри отечественной цивилизации? Вопросами о рукомошниках, о нижнем белье, о станом приставе, позволяющем себе ездить на трех лошадях вместо двух, о невычищенной плевательнице и т. д. А в воздухе колом стоят и «рутинные пути», и «великое будущее», и «твердые упования», и «светлые надежды». «Новый Нарцисс» произвел поистине комическое недоразумение. — «Ай-да-лихо откатал наше земство!» — потирали руки от удовольствия наши бюрократы. — «Что же это он накидывается

на такое юное, неоперившееся учреждение! Оно, конечно... но и на солнце есть пятна», — говорили умеренные. «Это ни на что не похоже! Автор — крепостник! Ему дороги дореформенные порядки!» — говорили либералы... Словом, никто не хотел или не мог понять задушевной сути этой сатиры, заглянувшей в глубь восторгов от «хорошо вылуженных рукомойников». Щедрин никогда не замыкался в тесный круг какой-нибудь доктрины, никогда не исповедовал никаких катехизических начал настолько, чтобы эта доктрина или эти начала заслоняли бы от него истинный смысл жизни. Он смеялся над старо-глуповцами и над ново-глуповцами, потому что его зоркий взгляд открыл между ними бездну соприкосновений, хотя, с первого взгляда, казалось бы, что между ними мало общего. «А вы читали, *mon cher*, политическое обозрение... *Charmant!*» — говорит ново-глуповец. «А как у мне сегодня канарейку из деревни привезли... персик!» — говорит старо-глуповец. Разница между этими двумя фразами чисто внешняя: и старый и новый глуповец посвящают время диалогам. И т. д. в этом роде. Параллель между старым и новым глуповцем проведена так метко, что, по прочтении этой параллели, невольно восклицаешь вместе с автором: «Как ты мне мил, ново-глуповец, мил потому, что ты, Бог даст, последний из глуповцев, что за тобой, ново-глуповцем, не последует новейший глуповец, а за новейшим — самоновейший и т. д.». Но не последует ли? *Qui vivra verra*¹³. Введена судебная реформа. Все, что было у нас прогрессивного, отнеслось к реформе самым сочувственным образом. Увлеченные новыми судебными порядками, мы игнорировали оборотную сторону дела, т. е. ту массу деятелей, которые увидели в реформе «лакомый кусок» и только. И вот являются «Ташкентцы». «Ташкентцы» представляют целую серию очерков, в которых перед читателем проходит галерея живых и ярко очерченных сатириком-художником типов, выхваченных из нашей современности. Но в особенностях рельефны у него: тип «надорванного, с вогнутым животом и всегда готового исполнителя», Миши Нагорнова, и тип «способного и основательного молодого человека», Тонкачева, отведавающих отечественного пирога. Не могу отказать себе в удовольствии напомнить читателю следующую характеристику ташкентца: «Рубль, выглядывающий из кармана ближнего простеца, мешаает им спать». «Зачем тебе, простофиля, рубль! зачем ты зажал его в руке — разожми! Я возьму этот рубль, зажгу его на свечке и закурю им папиросу!» «Дальше рубля взор ничего не видит. Ни общего смысла жизни, ни смысла общечеловеческих поступков, ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Все сосредоточилось, замкнулось, заклепалось

в одном слове: *жрать!*» «Дневник провинциала в Петербурге» — также галерея ташкентцев, для которых весь смысл жизни исчерпывается словом: *жрать!* Предпоследнее произведение Щедрина «Благонамеренные речи» произвело тоже немалую сенсацию в нашем обществе. — «Скажите, пожалуйста: смеется Щедрин над Наденькой Лаврецкой и Гапочкой Перерепенко, “чуть не пешком прибежавшими в Петербург из своих захолустий для разрешения женского вопроса”, или же он им сочувствует?» — спрашивала меня недавно одна одесская Гапочка, собирающаяся тоже побежать в Петербург или Цюрих: «смеется, — значит он консерватор, обскурант, ретроград?» — Нисколько. — «Как так?» — разинула рот Гапочка. — А так, просто: Щедрин смеется над Гапочкой Перерепенко, которая бежит в Петербург разрешить какую-то женскую задачу, обретающуюся на ученической скамье в медико-хирургической академии. Если бы Гапочка бежала в Петербург, собственно, для того, чтобы заполучить там для себя лично какое-нибудь преимущество, право на лучший кусок в жизни, то пока тут еще нет ничего смешного. Но раз Гапочка связывает свой кусок с разрешением каких-то вопросов — она смешна и нелепа. «Если бы меня спросили, подвинется ли через путешествие Гапочки в мед.-хир. академию хоть на волос известный вопрос об общечеловеческих идеалах, который держит в тревоге человечество, я ответил бы, — говорит Щедрин: — это не мое дело». — «Ну, после этого ваш Щедрин — какое-то “отступление” от общих правил», — пробормотала Гапочка. — *Oui, c'est le mot, m-elle*¹⁴ Гапочка. Но будто бы у Щедрина и в самом деле нет ничего святого? Неужели его отрицание существует *an sich und fur sich*?¹⁵ Нет, у сатирика есть свое *profession de foi*¹⁶ — это любовь к народу, который он защищает от всяких гнусных поползновений на него со стороны «талантливых натур», «ташкентцев», «новых Нарциссов» и т. д. Сочувствие к народу выражается в самых теплых, дышащих живой искренностью словах. Вот, например, на выдержку одно из таких мест: «Этой боли сердечной, этой нужде сосущей, которую мы равнодушно называем именем ежедневных, будничных явлений, никогда нет скончания. Они бесконечно зреют в сердце бедного труженика, выражаясь в жалобах, всегда однообразных и всегда бесплодных, но тем не менее повторяющихся непрерывно, потому что человеку невозможно не стонать, если стон вылетает из груди». Таких мест можно бы было привести достаточную толику.

